

Глава 7

Самосохранение и нравственный долг

Мне это нужно. Я должен это иметь — как часто я произношу на одном дыхании эти два предложения, словно второе высказывание просто сильнее подчеркивает то, что сказано в первом, или второе поясняет смысл первого; или во втором высказывании делается очевидный практический вывод из положения вещей, зафиксированного в первом. Это выглядит так, будто “нуждаться в чем-либо” означает “не иметь чего-либо, что нужно иметь”, или “утрачивать, лишаться его”, т.е. речь идет о *депривации*. Такая нужда порождает желание иметь недостающее. “Иметь” — это что-то вроде необходимости или принуждения, вызываемого потребностью. “Я должен иметь это”; “это” — нечто, что мне необходимо для полного счастья или для того, чтобы избавиться от нынешнего состояния нужды, которое, как можно предположить, вызывает чувство дискомфорта и неловкости, а следовательно, не дает покоя. Владение — это условие моего самосохранения и даже выживания. Без этого я не могу оставаться тем, что я есть. Моя жизнь будет разбита и станет невыносимой. В самом крайнем случае она вообще не сможет продолжаться. В опасности будет не просто мое благосостояние, а само мое физическое существование.

Именно моя потребность в чем-то, чего мне не хватает, в чем я нуждаюсь для собственного самосохранения или выживания, делает это “что-то” *благом*. Благо является не чем иным, как обратной стороной потребности. Поскольку я в чем-то нуждаюсь, постольку это “что-то” является благом; нечто является благом, поскольку я нуждаюсь в нем. Это нечто может означать разные вещи: товары, которые можно приобрести в магазине за деньги; тишина ночью на улице или чистые воздух и вода, чего можно достичь лишь согласованными усилиями многих других людей; безопасность дома и безопасность нахождения в общественных местах, что зависит от действий властей предержащих; любовь другого человека и его желание понять меня и посочувствовать. Иначе говоря, любое “благо”, т.е. то, что становится предметом нашего интереса ввиду потребности в нем, всегда ставит нас в отношение к другим людям. Наши потребности не могут быть удовлетворены, если у нас нет доступа к искомым благам, не важно, хотим мы ими владеть или только пользоваться. Но всегда потребность и желание удовлетворить ее вовлекает в круг наших интересов других людей и их действия. Каким бы самодостаточным ни было стремление к самосохранению, оно укрепляет наши связи с другими людьми, делает нас зависимыми от действий других людей и от мотивов их действий.

Эта истина не столь очевидна на первый взгляд. Напротив, собственность в широком смысле понимается как глубоко “частная” вещь — как особое отношение между человеком и предметом, которым он владеет. Когда я говорю “это мое” или “это принадлежит мне”, то чаще всего в сознании возникает невидимая связь между мною и, скажем, авторучкой, книгой или столом, принадлежащими мне. Кажется, будто предмет (собственность) каким-то невидимым образом связан со своим собственником; и мы полагаем, что сущность владения заключается именно в этой связи. Если я владею клочком бумаги, на котором пишу эти строчки, то только я и никто другой решаю, что с ним делать. Я могу пользоваться им по своему усмотрению: могу делать на нем записи для будущей книги, написать письмо другу или завернуть в него бутерброд; более того, я могу вообще порвать его, если захочу. (Правда, по отношению к некоторой своей собственности я не могу поступить так по закону; например, я не могу спилить старое дерево в своем саду без разрешения; не могу сжечь свой дом. Но даже тот факт, что требуется специальный закон, запрещающий мне распоряжаться некоторой собственностью таким образом, лишь еще больше подчеркивает общий принцип: именно я, и только я решаю, что будет с

вещами, принадлежащими мне.) Однако общепринятое представление о собственности не учитывает, а популярные описания отношений собственности оставляют недосказанным то, что собственность является также (и даже больше, чем что бы то ни было) отношением исключения. Ведь каждый раз, говоря “Это мое”, я также имею в виду (хотя и не произношу этого вслух, а зачастую и вообще не думаю об этом), что “это *не* твое”. Собственность никогда не является частным качеством; она всегда есть “вещь” общественная. Собственность подразумевает особое отношение между предметом и его владельцем только потому, что она подразумевает в то же время и особое отношение между владельцем и другими людьми. Владение вещью — это отказ в доступе к ней другим людям.

Собственность устанавливает взаимную зависимость и тем самым тесное отношение между мною и другими, но она не столько связывает (вещи и людей), сколько разъединяет (людей). Факт собственности противопоставляет друг другу, ставит в отношение взаимного антагонизма тех, кто владеет предметом, и тех, кто им не владеет; первые могут пользоваться (и злоупотреблять, если специальный закон этого не запрещает) предметом, тогда как вторым отказано в таком праве. Факт собственности дифференцирует людей (я могу достать деньги из своего кармана, но никому другому этого не позволено). Я могу также (вспомним наше обсуждение власти) сделать отношение между людьми асимметричным: те, кто не имеет доступа к предмету собственности, но хочет им воспользоваться, то должны подчиняться условиям, диктуемым собственником. Таким образом, их потребность, как и желание удовлетворить эту потребность, ставят их в положение зависимости от собственника (т.е. они не могут получить блага, необходимые им для насыщения их потребностей, для их самосохранения как личностей или для продолжения их существования, без тех действий, которые требует от них собственник).

Вопрос о том, как и с какой целью использовать станки, на которых работают рабочие, решает владелец или его уполномоченные. Владелец же, коль скоро он купил (в обмен на зарплату) время своих работников, точно так же считает это время своей собственностью, как и машины или фабричные здания. Тем самым собственник заявляет свое право решать, какую часть этого времени работник может тратить на перекуры, болтовню, чаепитие и т.п. Именно право решать, как использовать, а не само использование как таковое, наиболее ревностно охраняется в качестве той функции, к которой других не допускают. Таким образом, право решать, свобода выбора составляют истинную суть различия между собственниками и не-собственниками. Различие между владением и невладением является различием между свободой и зависимостью. Владеть вещами значит быть свободным в принятии решения относительно того, что должны делать те, кто ими не владеет, а в конечном счете это и означает — иметь власть над другими людьми. Собственность и власть на практике сливаются воедино. Погоня за собственностью и вождение власти в таком случае становятся фактически неразличимыми.

Любая собственность разделяет и разъединяет (т.е. исключает не-собственников из числа пользователей чьей-либо собственностью). Но не всегда собственность дает собственнику власть над теми, кто исключен. Собственность дает власть только в том случае, если удовлетворение потребностей исключенных невозможно без использования этих предметов собственности. Собственность на орудия труда, на сырье, нуждающееся в обработке человеческим трудом, на место, где эта обработка может производиться, предоставляет такую власть. (В ранее приведенном примере работникам нужен доступ к станкам, контролируемым владельцем фабрики, чтобы заработать себе на жизнь; они им нужны для самосохранения и даже для выживания. Без такого доступа их навыки и время будут бесполезными, они не смогут ими воспользоваться с выгодой для себя, заработать на жизнь.) Иначе дело обстоит с собственностью на товары, которые потребляются

собственником. Если у меня есть автомобиль, видеомэгнитофон или стиральная машина, то моя жизнь становится легче и приятнее с ними, чем без них. Они могут также способствовать повышению моего престижа — уважения людей, чье одобрение для меня важно: я могу похвастаться своими новыми приобретениями, чтобы те, кого я хотел бы поразить, стали смотреть на меня снизу вверх. Но это не обязательно дает мне власть над ними, если, конечно, они сами не захотят использовать эти вещи для собственного удовольствия или удобства; тогда я буду ставить условия пользования, которые они должны выполнять. Большинство вещей, которыми мы владеем, не дают нам власти; они дают, тем не менее, независимость от власти других людей (мне не нужно больше соблюдать установленные другими правила пользования этими вещами). Чем больше часть моих потребностей, которые я могу удовлетворить непосредственно сам, не спрашивая на то разрешения у других, тем меньше я должен подчиняться правилам и условиям, устанавливаемым другими. Можно сказать, что собственность — это власть *давать право*. Она расширяет автономию, свободу действия и выбора. Она делает человека независимым; позволяет ему действовать в соответствии со своими мотивами и преследовать свои личные цели. Собственность и свобода сливаются воедино. Часто задача расширения поля свободы переводится в расширение контроля над вещами — в собственность.

Обе функции — власть над другими и независимость — собственность выполняет лишь постольку, поскольку она *разделяет*. В самом деле, во всех вариантах и при любых обстоятельствах собственность предполагает дифференциацию и исключение. Как основополагающий принцип собственность означает, что права других людей являются пределами моих собственных прав (и наоборот); что расширение моей свободы потребует ограничения свободы других. Согласно этому принципу возможности всегда сопровождаются некоторыми (пусть частичными и относительными) поражениями в правах других людей. Данный принцип предполагает неустрашимый конфликт интересов людей, вовлеченных во взаимодействие в процессе реализации их интересов: то, что выигрывает один, другой теряет. Ситуация напоминает игру с нулевым итогом: ничего нельзя выиграть (как предполагается) ни при одном варианте — ни при разделении, ни при кооперации. В ситуации, когда способность действовать зависит от единоличного контроля над ресурсами, действовать разумно означает следовать предписанию “каждый для себя (сам)”. Так нам представляется задача самосохранения; такова логика, которая, видимо, следует из этой задачи и тем самым становится принципом любого разумного действия.

Когда человеческие действия следуют указанному принципу, их взаимодействие приобретает форму конкуренции. Соперниками движет желание исключить своих реальных или потенциальных конкурентов из числа пользователей ресурсов, которые они контролируют, надеются или мечтают контролировать. Блага, за которые борются соперники, воспринимаются ими как ограниченные: они считают, что их недостаточно и потому невозможно удовлетворить всех, следовательно, некоторые из соперников вынуждены будут согласиться на меньшее. Существенным моментом идеи конкуренции и основной особенностью конкурентного действия является то, что некоторых желающих ждет разочарование, поэтому отношения между победителями и побежденными всегда бывают отмечены взаимной неприязнью или враждой. По этой же причине ни одна из завоеванных в конкуренции побед не может считаться надежной, если ее постоянно не защищают от посягательств соперников. Конкурентная борьба никогда не кончается; ее результаты никогда не бывают окончательными и необратимыми. Отсюда можно сделать ряд важных выводов.

Во-первых, всякая конкуренция поддерживает тенденцию к монополии. Победившая сторона стремится обезопасить свои завоевания, отказывая

проигравшим в самом праве (или, по крайней мере, в реальной возможности) усомниться в этой победе. Конечной, хотя и иллюзорной, недостижимой, целью соперников является *устранение* конкуренции; конкурентным отношениям внутренне свойственна тенденция к самоуничтожению. Сами по себе они ведут к резкой поляризации шансов. Ресурсы будут скапливаться и создавать изобилие на одной стороне взаимоотношения, становясь все более скудными на другой. Очень часто такая поляризация ресурсов дает выигравшей стороне возможность диктовать правила для всех последующих взаимодействий и не дать проигравшим возможности оспорить эти правила. В таком случае выигрыш будет превращен в монополию; монополия же, в свою очередь, позволит выигравшей стороне диктовать условия дальнейшей конкуренции (например, зафиксировать цены на не доступные другим товары) и тем самым получать еще больший выигрыш, увеличивая разрыв между сторонами.

Во-вторых, постоянная поляризация шансов, порождаемая монополией (т.е. ограничениями, налагаемыми конкуренцией), ведет в долгосрочной перспективе к различным взаимодействиям победителей и побежденных. Рано или поздно как победившие, так и побежденные “консолидируются” в “постоянные” классы. Победившие объясняют поражение побежденных их прирожденной неполноценностью. Считается, что побежденные сами виноваты в своем невезении. Их изображают неспособными, порочными, неверными, недалекими, расточительными, нравственно незрелыми, короче — не обладающими теми качествами, которые необходимы для победы в конкурентной борьбе и которые одновременно являются качествами, заслуживающими уважения. Представленным таким образом побежденным отказывают в легитимности их права на недовольство. Принято считать, что раз их нищета обусловлена их же собственными недостатками, то им некого винить, кроме самих себя, и у них нет никакого права на свою долю пирога, особенно на ту долю, которую получили более удачливые. Принижение и поношение бедных используется как средство защиты привилегий, которыми наслаждаются богатые. Бедные представляются ленивыми, неряшливыми и грязными, скорее *развращенными*, нежели *обделенными* (лишенными): с несложившимся характером, избегающими тяжелого труда и склонными к преступлениям и нарушениям закона. Считается, что подобно остальным они “сделали себя сами”, т.е. сами выбрали свою судьбу. Их нищета обрушилась на них как следствие их особого характера и поведения. Более удачливые им ничего не должны.

Если случается, что богатые делятся своим имуществом с бедными, то это только благодаря доброте богатых, а не потому, что у бедных есть право на эту часть имущества богатых. Точно так же в обществе, где доминируют мужчины, женщин порицают за их подчиненное положение; их согласие выполнять менее престижные и привлекательные функции объясняют “врожденной” неполноценностью — чрезмерной эмоциональностью, недостатком духа соревновательности, меньшим интеллектом или рациональностью.

Порицание проигравших в конкурентной борьбе является одним из наиболее сильных способов заставить замолчать альтернативный мотив человеческого поведения — моральный долг. Нравственные интересы расходятся с интересами наживы по целому ряду существенных параметров. Корыстное действие опирается на эгоизм и жестокость по отношению к потенциальным соперникам. Нравственное же действие требует солидарности, бескорыстной взаимопомощи, желания прийти на выручку, не спрашивая и не ожидая вознаграждения. Нравственное отношение выражается в уважении к нуждам других и зачастую имеет результатом самоограничение и добровольный отказ от личной выгоды. Если в корыстном действии мои потребности (как бы я их ни определил) являются единственным

мотивом, то для нравственного действия основным критерием выбора становятся потребности других. В принципе, эгоизм и моральный долг — это две противоположности.

Тот факт, что одной из наиболее характерных черт современности является разделение предприятия и домашнего хозяйства, впервые отметил Макс Вебер. Подобное разделение есть способ предотвратить столкновение двух противоположных критериев действия. Такой результат достигается посредством четкого разграничения двух ситуаций, в которых господствующими являются соответственно соображения выгоды и моральный долг. Занимаясь предпринимательской деятельностью, человек свободен от семейных уз, другими словами, освобожден от груза морального долга, поэтому все внимание может уделить интересу наживы, которой требует успех предпринимательской деятельности. Возвращаясь в семью, можно забыть о холодном деловом расчете и делить блага между членами семьи в соответствии с потребностями каждого. В идеале семейная жизнь (как и жизнь всех коммунальных образований, построенных по образу семьи) должна быть свободна от интересов наживы. И также в идеале на деловую активность не должны влиять мотивы, вызванные нравственным чувством. Дело и нравственность плохо сочетаются. Предпринимательский успех (т.е. успех в конкуренции) зависит от *рациональности* поведения, что, в свою очередь, означает беспрекословное подчинение поведения соображениям личного интереса. Рациональность означает главенство рассудка, а не сердца. Действие считается рациональным лишь потому, что оно предполагает использование наиболее эффективных средств для достижения поставленной цели с наименьшими издержками.

Выше мы отмечали, что организация (или бюрократия, как ее обычно называют) является попыткой приспособить человеческое действие к идеальным требованиям рациональности. Теперь же мы видим, что такая попытка должна включать в себя более, чем что бы то ни было другое, подавление моральных соображений (т.е. интереса к другому ради него же самого, бескорыстного участия, даже если это идет вразрез с интересом самосохранения). Задача каждого члена организации сводится к простому выбору: подчиниться или не подчиниться приказанию. Она также ограничена лишь малой толикой общих задач, стоящих перед организацией в целом, так что более отдаленные последствия действия не обязательно просматриваются действующим субъектом. Кто-то может совершить поступки, имеющие ужасные последствия, о которых он и не предполагает; может воздействовать на людей, о существовании которых он и не подозревает, и таким образом продолжить вереницу еще более отвратительных и страшных дел, не испытывая при этом никакого нравственного конфликта или угрызений совести (так бывает, - например, когда человек зарабатывает на вполне приличную жизнь, трудясь на заводе, выпускающем оружие; на предприятии, которое нещадно загрязняет окружающую среду, или изготавливает потенциально вредные и ядовитые лекарства). Особенно важно отметить то, что организация заменяет нравственную ответственность дисциплиной как постоянным стандартом должного (“Я просто выполнял приказ”, “Я просто старался хорошо выполнить свою работу” — эти объяснения наиболее распространены и самоочевидны). До тех пор, пока член организации строго соблюдает правила и выполняет приказания начальников, он свободен от нравственных сомнений. Нравственно предосудительное действие, немыслимое при каких-то иных обстоятельствах, вдруг становится возможным и относительно легко выполнимым.

Сила, с какой организация подавляет или замалчивает нравственные ограничения, была убедительно продемонстрирована в знаменитых экспериментах Стэнли Милгрэма, где несколько добровольцев должны были в якобы “научном

исследованиях” посылать болезненные электрические разряды испытуемым. Большинство добровольцев, будучи уверены в благородности научных целей (которыми они, как обыкновенные люди, могли только восхищаться, а не разбираться в них или судить о них), не думали о своей жестокости, а полагались на общепризнанное и более значимое мнение отвечающих за исследование ученых и доверчиво следовали инструкциям, ничуть не смущаясь воплями своих жертв. То, что в эксперименте проявилось в малом масштабе — лишь в лабораторных условиях, было продемонстрировано в невероятных масштабах практикой геноцида во время и после второй мировой войны. Убийство миллионов евреев под руководством нескольких тысяч высших нацистских лидеров и чиновников было гигантской бюрократической операцией, привлечшей к соучастию в ней миллионы “простых” людей, большинство из которых, по всей вероятности, были прекрасными соседями, любящими супругами, заботливыми родителями. Эти люди вели поезда, увозившие жертвы в газовые камеры; работали на заводах, производивших отравляющие газы или оборудование для крематориев; и еще множеством других способов помогали выполнению общей задачи — уничтожению. У каждого была “своя работа”, поглощавшая все их духовные и физические силы. Эти люди могли делать то, что они делали, только по одной причине: они очень смутно представляли себе, если вообще представляли, последствия своих действий, поскольку никогда их не видели; равно, как и те ученые мужи, которые создали умные орудия разрушения, обрушившиеся на вьетнамских крестьян, не видели порождения своего ума в реальном действии. Конечный результат был настолько далек от тех простых задач, которыми они занимались, что связь этих задач с конечным результатом не попадала в поле их зрения или изгонялась из сознания.

Даже если функционеры какой-то сложной организации и осознавали конечный результат их общего дела, частью которого каждый из них был, то этот результат был так далек от них, что о нем не стоило и беспокоиться. Отдаленность может быть скорее идеальной, духовной, нежели географической. Благодаря вертикальному и горизонтальному разделению труда действия любого индивида, как правило, *опосредованы* действиями многих других людей: либо его собственная работа не имеет непосредственных последствий, либо она отгораживается от ее конечной, отдаленной цели множеством иных работ, выполняемых другими. Вот почему создается впечатление отсутствия прямой причинной связи между тем, что человек делает, и тем, что происходит с конечными объектами действия. В конце концов, собственный вклад человека меркнет, оказываясь незначительным, и его влияние на конечный результат представляется ему слишком малым, чтобы всерьез считаться нравственной проблемой. “Я ничего дурного не делал, и вы ничего не можете вменить мне в вину” — таково обычное объяснение. Наконец, человек мог делать такие невинные и безвредные вещи, как написание листков, составление отчетов, заполнение документов, включение и выключение машины, смешивавшей ядовитые вещества. Он вряд ли узнавал в обуглившихся телах в какой-то экзотической стране результаты своих действий, свою ответственность.

Крепко закрыть глаза на нравственно ужасающие конечные результаты на первый взгляд невинных дел помогает в дальнейшем известная безличность организационных функций. Существенной характеристикой любой организации является то, что любая роль в ней может быть исполнена любым человеком, обладающим соответствующими навыками. Поэтому можно утверждать, что вклад в решение общей задачи вносит именно роль, а не ее носитель. Если настоящий исполнитель не играет ее, как полагается, то на его место поставят другого, но задача в любом случае будет выполнена. Это утверждение можно развивать и дальше и продолжать настаивать на том, что сама ответственность за претворение общей задачи в жизнь лежит на роли, а не на ее исполнителе, и что роль не следует

смешивать с личностью исполнителя. Заметим, что даже преступники — участники геноцида, которые слишком близко находились к стадии убийства, чтобы заявлять о своем неведении относительно реальных последствий своих действий, и те доказывали, что в обстановке бюрократических приказаний и разделения труда нравственные оценки были неуместны. Их собственные чувства не были “ни там, ни здесь”, и не имело никакого значения, ненавидели они свои жертвы или сочувствовали им. Задача требовала от них дисциплины, а не эмоций. Как и в других обыденных и организованных взаимодействиях, они имели дело с назначенными им мишенями, а не с собратьями из рода человеческого.

Бюрократия, призванная служить нечеловеческим целям, продемонстрировала свою способность подавлять нравственные мотивации не только среди своих сотрудников, но и далеко за пределами самой бюрократической организации; это удалось ей путем апелляции к чувству самосохранения и тех, кого она намеревалась уничтожить, и тех, кто стал невольным свидетелем этого уничтожения. Бюрократическое управление геноцидом обеспечило, с одной стороны, сотрудничество многих его жертв, а с другой — нравственное безразличие большинства наблюдателей. Будущие жертвы были превращены в “психологических пленников”, зачарованных иллюзорными перспективами милостивого обращения с ними в качестве вознаграждения за согласие подыгрывать своим мучителям и способствовать своему закабалению. Вопреки всему они надеялись, будто что-то еще можно спасти, предотвратить какие-то опасности, если только не раздражать своих мучителей, будто сотрудничество с ними будет вознаграждено. В большинстве случаев это был феномен упреждающего согласия: жертвы сами предлагали тот или иной способ ублажить палача, стараясь заранее угадать его намерения и удовлетворить его с особым рвением. Помимо всего прочего, они до последнего момента не осознавали неизбежности своей окончательной участи. Каждый следующий шаг на пути к уничтожению представлялся им хотя и неприятным, но не последним и уж во всяком случае не необратимым; на каждом шагу они сталкивались с четко определенным выбором, у которого было только одно рациональное решение — без вариантов, но и оно лишь приближало их уничтожение. Благодаря этому организаторы геноцида достигали своих целей с наименьшими беспорядками и фактически при отсутствии какого бы то ни было сопротивления; потребовалось совсем мало надзирателей за длинной, послушной колонной, идущей в газовые камеры.

Что же касается сторонних наблюдателей, то их согласие или, по крайней мере, молчание и бездействие обеспечивались пониманием ими слишком высокой цены нравственного поведения и сочувствия жертвам. Выбрать правильное с нравственной точки зрения поведение означало бы навлечь на себя страшную кару, а зачастую подвергнуть риску само свое физическое существование. Когда ставки так высоки, тогда интерес самосохранения отставляет в сторону моральный долг, а моральные соображения, угрызения *совести* подавляются *рациональными* доводами: “Помогая жертвам, я подверг бы опасности свою семью и собственную жизнь; в лучшем случае я спас бы *одного* человека, в случае же неудачи погибло бы *десять*”. Предпочтение отдается подсчетам шансов на выживание, а не нравственному качеству действия.

Мы привели крайние случаи противостояния мотивов самосохранения и морального долга; они были взяты из редко встречающихся ситуаций и, как правило, порицаемых всеми. В более мягкой и потому менее настораживающей форме такое противостояние оказывает воздействие на повседневную человеческую жизнь. В любой организационной среде рациональность действий, провозглашаемая как наиболее эффективное средство самосохранения, по большей части достигается за счет нравственных обязательств. Явное преимущество рационального поведения

перед действием, руководствующимся моральным долгом, составляет рецепт правильного выбора, т.е. то, что непосредственно вызывает к чувству самосохранения и самопродвижения. Рациональное поведение становится еще более соблазнительным благодаря своей способности удовлетворять желание самовозвеличивания, вызываемое конкуренцией. Мотив самосохранения, выраженный в нулевом варианте исхода конкуренции и оснащенный надежным оружием бюрократической рациональности, превращается в грозного и, наверное, непобедимого соперника нравственности.

Дальнейшему уничтожению моральных обязательств способствует статистическое обращение с людьми просто как с безликими объектами действия, свойственное любой бюрократии. Рассматриваемые как фигуры, или “чистые формы”, которые могут быть заполнены любым содержанием, такие человеческие объекты утрачивают индивидуальность и отчуждаются от своего бытия носителей прав человека и моральных обязательств. Вместо этого их относят к некой категории, представители которой полностью определяются соответствующей совокупностью организационных правил и критериев. Их личностная неповторимость, а следовательно, их уникальные, индивидуальные потребности теряют свое значение как ориентиры бюрократического действия. Значение имеет только категория, к которой они официально причислены. Подобная классификация сосредоточивает внимание лишь на избранных атрибутах индивидов, в которых выражается интерес организации, и поощряет пренебрежение всеми остальными их характеристиками, т.е. индивидуальными чертами, делающими индивида моральным субъектом, уникальным и единственным в своем роде человеческим существом.

По сути дела, бюрократия — это не единственный феномен, в котором нравственные мотивы приходится не ко двору и в котором они приглушаются и подавляются. Весьма сходный результат подавления нравственного чувства можно наблюдать и в ситуации, практически во всех других отношениях диаметрально противоположной холодной расчетливой рациональности бюрократической организации и также практически свободной от соображений наживы и завистливой конкуренции. Такую ситуацию, отличающуюся наиболее эффективной способностью подавлять нравственность, создает толпа.

Замечено, что люди, вынужденные находиться на ограниченном пространстве бок о бок с огромным количеством незнакомых им людей, которых они не встречали раньше при других обстоятельствах и с которыми до этого не взаимодействовали, а в настоящем “объединены” лишь временным, случайным интересом, склонны вести себя так, как они даже не предполагали бы возможным вести себя в “нормальных” условиях. Самое дикое поведение может вдруг обуять толпу подобно пожару в лесу, порыву ветра или распространению заразы. В случайно образовавшейся толпе, например на переполненном народом рынке или в театре, охваченные паникой люди, движимые единственным желанием спастись, могут топтать других людей, толкать их в огонь, обеспечивая себе жизненное пространство и избегая опасности. В другом случае они могут напасть и убить предполагаемого злодея, на которого им указали и объявили источником угрозы. В толпе люди способны на такие действия и поступки, которые не хватит духу совершить ни одному преступнику. Если толпа и может коллективно совершать то, что претит любому ее члену в отдельности, то именно в силу ее *безликости*. В толпе люди утрачивают свою индивидуальность и “растворяются” в анонимном сборище; в ней они не воспринимаются как субъекты нравственности, как цель морального долга (результат, сходный с дистанцированием, порождаемым бюрократическим разделением труда). Сборище линчевателей или толпа болельщиков освобождают своих членов от моральной ответственности за насильственные действия в отношении других людей, которые обычно могут быть защищены от насилия только моральными ограничителями, если таковые имеются у

предполагаемых насильников. В подобных случаях подавление моральных ограничителей является результатом анонимности толпы и фактического отсутствия каких бы то ни было продолжительных связей между ее участниками. Толпа рассеивается так же быстро, как и собирается, и ее коллективное действие, даже координируемое, не воспроизводит и не порождает никакого сколько-нибудь продолжительного взаимодействия. Именно мгновенный и непоследовательный характер действия толпы делает возможным чисто эмоциональное, неконтролируемое, *аффективное* поведение отдельных ее членов. В какое-то мгновение все тормоза срываются, снимаются все запреты, отменяются все обязательства и все правила нарушаются.

Упорядоченное, бесстрастное поведение в рамках бюрократической организации и необузданные порывы гнева или паники в толпе кажутся полярно противоположными; и все же их воздействия на нравственные чувства и запреты поразительно схожи. Сходные результаты имеют и сходные причины: деперсонализация, “обезличение”, уничтожение индивидуальной самостоятельности. И бюрократия, состоящая из ролей, а не из личностей, сводящая людей к ролям или множеству ресурсов или препятствий на пути к достижению цели или решению проблемы, и неуправляемая, возбужденная толпа, состоящая из неразличимых частиц, а не из отдельных индивидов, отличающаяся лишь размером, а не индивидуальными качествами своих членов, по существу являются безликими и анонимными.

Для других человеческих существ люди остаются моральными субъектами до тех пор, пока они признаются именно людьми, т.е. существами, имеющими право на то, чтобы с ними обращались так, как полагается обращаться только с людьми, причем с любым человеком (естественно, речь идет об обращении, предполагающем, что партнеры взаимодействия тоже имеют свои уникальные потребности и что эти потребности столь же ценны и важны, как и твои собственные, и к ним следует относиться с не меньшим вниманием и уважением). Можно даже сказать, что понятия “объект нравственности” и “человек” соотносимы — их содержание совместимо. Как только определенные лица или категории людей лишаются права на нашу моральную ответственность, с ними обращаются как с “недочеловеками”, “порочными людьми”, “не совсем людьми” или вообще “нелюдями”.

Мир (универсуум) моральных обязательств (совокупность людей, объединенных моральным долгом) может включать, а может и не включать всех представителей рода человеческого. Многие “примитивные” племена наделяли себя именами, которые просто означали “люди”; человеческий статус других племен, особенно тех, с которыми не установились никакие взаимодействия, кроме редких вспышек враждебности, не признавался. Отказ признать человеческое в чужих племенах продолжал сохраняться и в рабовладельческих обществах, где рабам приписывался статус “говорящих орудий” и на них смотрели только с точки зрения их пригодности для решения предназначенной им задачи. Статус ограниченной человечности на практике означал одно: существенное требование нравственного отношения, т.е. уважения потребностей другого человека, что подразумевает прежде всего признание его целостности и непреходящей ценности его жизни, не было обязательным в отношении к носителям этого статуса. Похоже, что история развивалась как постепенное, но неумолимое наступление идеи гуманизма с ее ярко выраженной тенденцией к распространению универсума обязательств на весь человеческий род.

Однако, как мы видели, этот процесс не был прямолинейным. Наш век прославился появлением весьма влиятельных мировоззрений, призывавших исключить целые категории людей — классы, нации, расы, конфессии — из универсума обязательств. Вместе с тем совершенство бюрократически

организованного действия достигло такого уровня, на котором моральный запрет уже не может воспрепятствовать соображениям эффективности. В результате сочетания обоих факторов — возможности подавить нравственную ответственность (что создает бюрократическая технология управления) и существования мировоззрений, готовых и желающих использовать эту возможность, — во многих случаях значительно сократился универсум обязательств. А это, в свою очередь, открыло дорогу таким последствиям, как массовый террор в коммунистических обществах против представителей враждебных классов и их пособников, постоянная дискриминация расовых и этнических меньшинств в странах, которые гордятся своими успехами в области прав человека, множество явных и скрытых систем апартеида и многочисленные случаи геноцида, начиная с убийства армян турками, уничтожения миллионов евреев, цыган и славян нацистской Германией и кончая применением смертоносных газов против курдов, массовыми убийствами в Камбодже. Границы универсума обязательств по сей день остаются спорными. Можно предположить, что развитие бюрократической технологии, имеющее своей задачей подавление моральных мотивов (такое же достижение современного общества, как и распространение морального чувства в отношении всех представителей рода человеческого), сжало эти границы по сравнению с прошлыми временами, во всяком случае если не в теории, то на практике.

Внутри универсума обязательств значение потребностей других людей признается. Общепринято, что потребности других людей являются законным основанием их требований; если же требования не удовлетворяются, то это всегда требует объяснений и в некотором роде извинений. Жизнь другого человека должна быть сохранена любой ценой. Должно быть сделано все возможное, чтобы обеспечить его благополучие, увеличить его жизненные шансы, открыть ему доступ к благам, которыми располагает общество. Его бедность, болезни, беспросветность его повседневной жизни вызывают к участию всех остальных членов универсума обязательств. Столкнувшись с таким призывом, мы чувствуем себя обязанными оправдываться — давать убедительное объяснение, почему было так мало сделано, чтобы облегчить их участь, и почему нельзя было сделать больше; мы также чувствуем себя обязанными доказывать, что было сделано все возможное. Подобные объяснения не обязательно должны быть правдивыми. Мы слышим, например, что медицинское обслуживание населения в целом не может быть улучшено потому, что “деньги невозможно истратить до того, как они заработаны”. Однако такое объяснение скрывает, что прибыли частной медицины, услугами которой пользуются богатые, расцениваются как “заработанное”, тогда как услуги, предоставляемые тем, кто не может прибегнуть к помощи частной медицины, считаются “расходом”; такое объяснение, следовательно, скрывает различия в удовлетворении потребностей, которое зависит от платежеспособности. И все-таки уже сам факт, что объяснение вообще предоставляется и что те, кто его дает, чувствуют себя обязанными это сделать, свидетельствует о признании того, что люди, чьи потребности в лечении игнорируются, остаются внутри универсума обязательств.

Тот факт, что потребности других людей остаются неудовлетворенными, не ощущался бы нами как наша неудача и внутреннее побуждение объяснить ее утратило бы смысл, если бы игнорируемые “другие” были изгнаны из универсума обязательств; или если бы, по крайней мере, было продемонстрировано, что их присутствие в универсуме обязательств сомнительно или “незаслуженно”. И это совсем не надуманная ситуация. Она воспроизводится посредством объявления тех, “других”, находящимися в недочеловеческом состоянии и затем посредством обвинения их в том, что причиной их неудач является их собственная неспособность действовать “по-человечески”. Отсюда — лишь один шаг до заключения, что эти “другие” не могут считаться людьми, поскольку их недостатки неисправимы и ничто

не сможет вернуть их к человеческому состоянию Они, например, навсегда останутся “чуждой расой”, которая сможет приспособиться к моральному порядку “коренного населения”, поскольку они сами не смогут терпеть этот порядок.

Самосохранение и моральный долг противостоят друг другу. Ни то, ни другое не может претендовать на “большую естественность”, лучшую приспособленность к внутренней предрасположенности человеческой природы. Если одно берет верх над другим и становится главенствующим мотивом человеческого действия, то обычно причину дисбаланса можно отыскать в том случае, если удастся дойти до социально определенной ситуации взаимодействия — до способа определения приоритетов.

Мотивы нравственности и самосохранения превалируют в зависимости от обстоятельств, над которыми люди, попадающие в них, имеют ограниченный контроль. Было замечено, однако, что сила обстоятельств никогда не бывает абсолютной и выбор между двумя противоположными мотивами остается открытым даже в самых экстремальных условиях. Моральная ответственность человека или отказ от нее не могут быть оправданы в конечном счете ссылками на внешние силы и принуждение.